

⁵¹ Ежегодное празднование было установлено в день Рождества Христова Высочайшим указом Святейшему Синоду от 30 августа 1814 г. (ПСЗ-I. Т. 32. № 25669).

⁵² Северная пчела. 1827. № 1. 1 января.

⁵³ Там же.

⁵⁴ Цит. по: Ренне Е.П. Указ. соч. С. 238–239.

⁵⁵ Имеется в виду Скотти Иван Карлович (Джованни Батиста) (1776–1830) – известный художник-декоратор XIX в., автор многих дворцовых интерьеров в Санкт-Петербурге.

⁵⁶ Отечественные записки. 1827. Т. XXIX. С. 152.

⁵⁷ Эрмитаж. История строительства и архитектура зданий. Л., 1991. С. 223.

⁵⁸ Отечественные записки. 1839. Т. 3. С. 101.

⁵⁹ Отечественные записки. 1827. Ч. XXIX. С. 156–157.

© 2012 г. С. С. СЕКИРИНСКИЙ*

НАПОЛЕОН В РОССИИ: СУДЬБА ЛЕГЕНДЫ

Ветеран Отечественной войны 1812 года И.Т. Радожицкий точно указал на парадоксальный характер восприятия Наполеона современниками, в том числе и в России¹. По наблюдениям русского воина-мемуариста, если писавшие о Наполеоне, большей частью «бранили его без милосердия, и лаiali как Крылова моська на слона», то «полководцы, министры и законодатели перенимали от него систему войны, политики и даже форму государственного правления». Являясь «врагом всех наций Европы, стремясь поработить их своему самодержавию», Наполеон был вместе с тем «гением войны и политики». Поэтому, заключал Радожицкий, «гению подражали, а врага не-навидели»².

1812 год и «отмена революции Наполеоном»

Несовместимые, на первый взгляд, составляющие той памяти, которую оставил по себе Наполеон в России, можно найти в мемуарах Афанасия Фета (Шеншина). Даже в середине 30-х годов позапрошлого века родное гнездо поэта – усадьбу Новоселки, расположенную на Орловщине неподалеку от Мценска, неоднократно навещали «жалкие» смоленские дворяне, приезжавшие из соседней губернии, в «рогожных кибитках, запряженных в одиночку». Предъявляя хозяевам свидетельство, выданное им предводителем, они просили подаяния, ссылаясь на войну, прокатившуюся по их землям четверть века назад (!) и приговаривали: «Усадьба наша сожжена, крестьяне разбежались и тоже вконец разорены!» Притом «все, не исключая и дам», как пишет мемуарист, были в лаптях! Можно, конечно, задаться вопросом, не из числа ли прототипов Обломова вышли эти жертвы войны, не сумевшие за четверть века встать на ноги? Но для характеристики распространенных тогда представлений о масштабах постигшего страну в 1812 г. бедствия это не столь уж важно. У самого Фета, как и у его старших родственников, спешивших накормить голодных людей и помочь им деньгами, столь затянувшееся нищенство не вызывало никакого недоумения. Ведь, как пояснял своим читателям автор воспоминаний, «это было каких-либо двадцать пять лет спустя после нашествия Наполеона»!³ В глазах современников – срок, не слишком долгий, чтобы оправиться от пережитого в 1812 г. разорения.

* Секиринский Сергей Сергеевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 12-01-00160а.

Но, несмотря на столь живую и наглядную память о войне с Наполеоном, культ его личности сохранялся в поколениях орловских дворян Шеншиных. В усадьбе двоюродного деда поэта Василия Петровича, родившегося еще в середине XVIII столетия, с давних пор висели «портреты первого консула Наполеона и Жозефины». В 1812 г. они были только перемещены в «тайный кабинет». Но спустя четверть века унаследовавший это имение дядя Фета Петр Неофитович, «горячий поклонник гения Наполеона», снова вывесил их на всеобщее обозрение⁴, хотя и не перевелись еще в орловском краю смоленские дворяне, просившие подавание! Да и сам Фет до конца жизни находился под обаянием наполеоновского образа. Отвечая на вопрос в «Альбоме признаний» Татьяны Львовны Толстой, «какое историческое событие вызывает в вас наибольшее сочувствие?», поэт нашел слова, наделившие избранного им героя *сверхчеловеческими* способностями: «отмена революции Наполеоном I»⁵!

Как показал на примере молодого Болконского разоблачитель наполеоновского мифа Толстой, культ Бонапарта со времени его проникновения в Россию вовсе не противоречил русскому патриотизму, а вполне уживался с ним. Но в отличие от толстовского персонажа, быстро разглядевшего мелочность своего героя, далеко не все соотечественники писателя, будь это современники Наполеона или Толстого, либо позднейшие читатели «Войны и мира», были готовы к столь решительному развенчанию наполеоновского образа. В рассказе Аполлона Григорьева «Один из многих», написанном в 1846 г., почти за два десятка лет до появления толстовского романа, выведен образ полковника Скарлатова, героя Бородина, который, «несмотря на то, что дрался как истинный русский, любил Наполеона и Францию»⁶. «Каждую ночь просыпаюсь и читаю “Войну и мир”, – писал А.П. Чехов А.С. Суворину 25 октября 1891 г., – с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжки, и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле»⁷.

Наполеоновские ассоциации в русской культуре

О многообразии смыслов и оттенков русских образов Наполеона свидетельствует и судьба его имени, ставшего в России, как и в других странах, именем нарицательным, означающим выдающегося в том или ином смысле человека вообще, крайнее проявление каких-либо свойств, какими бы они ни были. Несколько знаменитых *плутов* русской литературы были удостоены их создателями сопоставлений с Наполеоном: от Чичикова (1842) и Кречинского (1854) до «великого комбинатора» Остапа Бендера (1928, 1931).

Одновременно из ассоциаций с Наполеоном вырастал совсем иной ряд сравнений. «Не зная лучшего закона, // Как чести, славы и добра, // Он рос при имени Петра, // Горел на звук Наполеона», – эти два имени не только у поэта Петра Ершова, вспоминавшего в 1836 г. о своем рано умершем брате⁸, но и вообще в русском сознании не раз возникали рядом. Представленный чуть позже в первом отечественном жизнеописании французского императора⁹ образ укротителя «мятежа», спасителя отечества от внешних врагов и «труженика на троне» был в известной мере созвучен назидательному пушкинскому образу Петра в «Стансах», адресованных Николаю I.

Сближению Наполеона с Петром, т.е. с идеалом российского самодержца, каким стал официальный образ основателя Российской империи в николаевской России, противостоит восходящее к дворянским страхам 1812 г. уподобление императора французов совсем другому персонажу русской истории. Эту ассоциацию накануне 100-летия Отечественной войны припомнил писатель А.В. Амфитеатров, начавший печатать серию статей, посвященных критике официальной версии тех событий (а заодно и существенной корректировке их интерпретации Л.Н. Толстым) под ироническим названием «Очерки из истории русского патриотизма». Первый из «таранов господам лже-Романовым»¹⁰ неприятных, а для сознания русского читателя бесполезных», как

охарактеризовал свои очерки автор в письме к М. Горькому, отправленном 13 октября 1911 г.¹¹, был озаглавлен «Наполеон–Пугачев»¹²! При этом в отличие от цитируемых им русских современников событий, охваченных страхом или негодованием перед возможностью «пугачевщины извне»¹³, Амфитеатров спокойно обсуждал шансы освобождения крестьян в 1812 г. с помощью французского императора¹⁴.

Если с появлением на исторической сцене Наполеона, по наблюдению писательницы Елены Ган, «никакое возвышение не казалось невозможным, никакая степень величия недоступною»¹⁵, а он сам был возведен в русской поэзии на высокий пьедестал «мужа века»¹⁶, то «умственным Наполеоном нашего века», «Наполеоном мысли» в России нарекли Гёте¹⁷, «Наполеоном поэзии» – Байрона¹⁸, «Наполеоном русского книжного дела» – Алексея Суворина¹⁹.

На уровне частной сферы и повседневности «наполеоновская» метафора также применяется для характеристики прямо противоположных черт поведения: от *предельного самоотвержения* девушки, приносящей в жертву собственному отцу свою любовь и личную жизнь, как в повести Александра Дружинина «Рассказ Алексея Дмитрича» (1848), до явно преувеличенного самомнения и «нравственного влияния» на окружающих типичной для любого губернского города барыни из повести Владимира Даля «Вакх Сидоров Чайкин...» (1843): «Это Наполеон своего рода до изгнания его из России с бесчестьем, и все языки должны ей покорствоваться»²⁰.

Наполеоновская *поза* – мимика, жесты, сложенные «по-наполеоновски» на груди руки – становится, что видно хотя бы из множества литературных примеров, верным признаком завышенной самооценки. Как заметил на исходе XIX столетия Ключевский, «в настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I., хотя в кармане у него бальная книжка, где все двойка, двойка и двойка». Вместе с тем историк, не ограничившись только «веселой улыбкой» по поводу «таких... выражений величия», объяснил их как одно из следствий раскрепощения личности, которой «в старые времена», когда «самая физиономия человека в значительной мере имела значение служебного мундира», просто «не позволялось быть столь свободной и откровенной»²¹.

В эпоху же, хотя и прозванную советской историографией по очевидному недоразумению «периодом *культы личности*», а на самом деле отмеченную появлением нового образа Наполеона как аллегории *одного доминирующего лица*, в частной переписке Михаила Павловича Чехова возникает совершенно иная ассоциация, связанная уже не с характерами и амбициями реальных людей или литературных персонажей, а с повадками перелетных птиц, целые караваны которых уводит за собой *передовая особь* – «какой-нибудь маленький птичий Наполеон»!²² Это был, пожалуй, самый универсальный, лиричный и вдохновляющий ассоциативный образ Наполеона в русской культуре.

Со времен поэтов-романтиков наполеоновская легенда претерпела в России чудесные превращения и стала жить в русском сознании иногда совсем обособленно не только от «Грозы Двенадцатого года», но даже и от «Европы».

Пора героизации «мученика Святой Елены», когда по улицам Петербурга, согласно воспоминаниям А.Ф. Кони, ходили итальянцы-шарманщики, чьи инструменты часто были украшены представленными на специальной площадке фигурками умирающего в постели Наполеона и плачущих вокруг него генералов²³, совпала в России с полосой интенсивных поисков национальной самобытности. Именно тогда в отечественной поэзии уже сами русские по отношению к «европейским дикарям» были уподоблены Бонапарту – одновременно и как умиротворителю революции, и как арбитру Европы: «Я говорю, что мир восплещет, // Когда мы ринемся в него, // Когда в нем молнией заблещет // Штык примирителей всего. // Когда вторым Наполеоном // Мы их рассудим и уйдем, // И этот мир, объятый стоном, // Одушевим своим умом», – писал с верой в высокую духовную миссию России поэт Александр Баласогло в 1840 г.²⁴

Спустя сто лет частная хроника питерской художницы Любови Шапориной зафиксировала совсем иное национальное самоощущение. Проходя в конце 1933 г. мимо

нового здания ОГПУ – «Большого дома» на Литейном, она увидела в этой новостройке начала 30-х «надгробный памятник над Россией, всеми мечтами, иллюзиями, идеалами, свободами», и вспомнила знакомый с юности классический образ: «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог»²⁵.

Разные эпизоды легендарной наполеоновской биографии, преломленные отечественной художественной культурой, становились порой выразительными метафорами судеб России и русских в истории.

История, миф, эпигоны

Наполеоновская мифология и наполеоновская историография шли иногда разными путями, а нередко тесно переплетались. В романе «Гарденины...» (1889) Александра Эртеля, кстати, внука солдата Великой армии, оставшегося в России, есть выразительный эпизод распаковывания книжной посылки, пришедшей из Петербурга в провинцию, к местному книгочею, человеку демократических убеждений. Илья Финогеныч (так зовут персонажа) вынимает каждую книгу «с каким-то радостным благоговением» и сразу вступает с ее автором в диалог: «Эге! Вот и Ланфре... ну-кося, как ты идола-то этого?.. Ну-кося!» («Гарденины, их дворян, приверженцы и враги». Ч. 2. Гл. VI). Для тогдашних читателей романа Эртеля имя Пьера Ланфре – автора разоблачительной по отношению к главному персонажу «Истории Наполеона I» (1867–1875; русский перевод: 1870–1877²⁶), не требовало никаких пояснений.

Но все-таки чаще наполеоновская мифология находила подпитку в наполеоновской историографии. В таком аспекте многочисленная литература о Наполеоне приобретает значимость не столько сама по себе, сколько в связи с тем обратным влиянием, которое она оказывала на поколения читателей и потенциальных *деятелей*. Это был растущий книжный поток, который не только наделял символическим значением, но и делал *общеизвестным* в рамках достаточно широкого круга читающей публики едва ли не каждый значительный эпизод индивидуальной судьбы Бонапарта. В XIX столетии осведомленность в его биографии становится такой же характерной чертой образованного европейца, в том числе русского человека, независимо от его отношения к Наполеону, как и умение ориентироваться в перипетиях античной истории и мифологии.

Вероятно, с конца XIX в. наполеоновский образ появляется и на русской сцене. В 1910 г. Влас Дорошевич в некрологе, посвященном актеру Е.Я. Неделину (Недзялковскому), воспроизвел память о талантливо воплощенном им в комедии В. Сарду и Э. Моро «Мадам Сан-Жен» (1893) образе Наполеона:

«Дежурство звякнуло шпорами, палашами и застыло, отдавая честь.

В широко раскрывшиеся двери быстрой, нервной, неровной, стремительной походкой вошел небольшой человек, с бледным лицом, с глазами исподлобья.

Белый жилет. Большой палец правой руки за пуговицей.

Оглянул всех быстрым, острым взглядом.

Взглядом, от которого не скроется ничего.

Жуткая фигура!

И заговорил отрывистым, с хрипотой голосом.

Словно каждую секунду повелевая.

В манере говорить слышна привычка:

– Командовать.

Когда он волнуется, у него начинает дрожать правая нога. Когда кто-нибудь говорит больше двух слов, он начинает хмуриться. Он всех перебивает. Груб, – и, боже, какой актер! Каким красивым жестом берет, шутя, за ухо Фуше, с какой красотой целует руку “Madame Sans-Gêne”. Какая страсть рисоваться. Какое стремление всех очаровывать.

– Откуда вы взяли такого Наполеона? Величественного и невоспитанного? Орла и “мирового комедианта – спросил я у Неделина.

– Я делал его по Тэню»²⁷.

После просмотра спектакля, посетив в Париже знаменитую «могилу» Наполеона, Дорошевич признавался: «я мысленно видел того, кто лежит в этой “могиле”, таким, каким мне нарисовал его Неделин»²⁸. Наполеоновская историография, воплощаясь в талантливой актерской игре, влияла на общественное восприятие своего главного персонажа и через сцену.

Историками литературы в свое время было замечено, что «точная и даже дословная программа Раскольникова» содержится уже в стихах второй главы «Евгения Онегина»²⁹: «Все предрассудки истребя, // Мы почитаем всех нулями, // А единицами себя; // Мы все глядим в Наполеоны; // Двуногих тварей миллионы // Для нас орудие одно; // Нам чувство дико и смешно».

Но если не замыкаться на истории русского романа, русской литературы, и обратиться к обычным дневникам, мемуарам, даже исповедальным стихам и другим источникам, то можно обнаружить, что едва ли не в каждом поколении русских юношей (а порой и девушек), по крайней мере, в XIX – начале XX в. у Наполеона были страстные поклонники, в большинстве своем оставшиеся, конечно, совершенно безвестными³⁰. В воспоминаниях о гимназической юности, пришедшейся на рубеж 1880–1890-х гг., драматург и переводчик Т.Д. Щепкина-Куперник оставила только визуальный портрет одного такого влюбленного в легендарный образ молодого человека, имя которого она запомнила и называла просто «Наполеон»: «Бледный, с шапкой курчавых волос, с энергичным лицом, небольшого роста». Со временем «Наполеона в его сердце заменила революция»: он был убит в Томске в 1905–1907 гг.³¹ Если Наполеон *вышел* из революции, то «горевшие» им юные русские, бывало, *уходили* в нее.

Полководческий опыт Наполеона играл особую роль в профессиональной подготовке поколений русского офицерства. Как вспоминал генерал А.А. Игнатьев, окончивший Николаевскую академию генерального штаба в 1900 г., на изучении наполеоновских военных кампаний «зajiдилось наше академическое военное образование»³². Время от времени этот профессиональный интерес к великому полководцу трансформировался в русской военной среде и в более широкие амбиции, вдохновленные его личностью и примером.

«Формула русской истории страшно напоминает формулу французской»

Жизни наполеоновской легенды в России содействовали как международные, так и внутрисполитические обстоятельства.

Происходившее в течение десятилетий изменение конфигурации сил в Европе, сопровождавшееся переоценкой внешнеполитических приоритетов России, влекло за собой и неоднократные попытки – от Николая Данилевского до Михаила Меньшикова – пересмотреть традиционные представления о ее бывших врагах и союзниках. Как писал с явным огорчением накануне военного столкновения своей страны с австро-германским блоком Меньшиков, «в непостижимом затмении мы вели с Наполеоном I ряд разорительнейших войн, отстаивая свою грудь Пруссии и Австрии»³³. В обстановке военно-политического союза России и Франции перед лицом общей угрозы в русской печати высказывались сомнения относительно целесообразности (с точки зрения долгосрочных интересов России) победоносного похода русской армии в Париж в 1814 г.³⁴, а образ Наполеона и во Франции, и в России вызывал повышенный интерес, освобождаясь от слишком неприятных (не только для французских республиканцев, но и для русского патриотического сознания) военно-политических коннотаций³⁵.

Востребованности наполеоновского образа в нашей стране способствовало и возникшее со времен реформ Александра II ощущение быстрого сближения с Западом. «Формула русской истории страшно как напоминает формулу французской», – настоятельно заметил К.Д. Кавелин по поводу дворянской фронды 1860-х гг.³⁶ Мысль о том, что «примеры истории научат... государя перескочить прямо с 1789-го года в 1799-й, а потом перейти постепенно к концу 1851 года», была совсем не чужда и тогдашним

представителям высшей бюрократии³⁷, и близким к просвещенным чиновникам интеллектуалам³⁸.

Ускоренная модернизация только актуализировала в России тему революции, а вместе с ней и Наполеона. Уже в конце первого пореформенного двадцатилетия на горизонте возбужденно-политизированного сознания известной части русского общества стал прорисовываться силуэт “всадника в треуголке”, выступающего то ли в роли “спасителя Отечества”; то ли, наоборот, опасного для государства авантюриста.

Освободительная война на Балканах, а затем и царевбийство 1 марта 1881 г. («поддельная»³⁹ революция, согласно определению М.Н. Каткова) создали условия для рождения легенды о «белом генерале», целенаправленно и артистично выстроенной ее создателем – М.Д. Скобелевым на основе переключки с наполеоновской эпопеей. Это был своеобразный римейк в сфере политической мифологии, созданный еще в докинематографическую эпоху. Итог ему подвел апологетический литературный портрет Скобелева, созданный французской публицисткой Жюльеттой Ада⁴⁰. Не вызывая прямых и не нужных – ни в России, ни в Третьей республике – ассоциаций с Наполеоном, образ русского генерала, не скрывавшего своих антигерманских настроений, оказался одним из удобных пропагандистских «прототипов» знаменитого генерала Буланже. Наполеоновский миф в превращенном виде вернулся на родину⁴¹.

После Первой русской революции консервативный потенциал наполеоновского мифа (образ умиротворителя революции) приобрел известную актуальность в обстановке углублявшейся социальной поляризации⁴². Буквально накануне Февраля 1917 г. и сам Николай II, беседа с французским послом Морисом Палеологом в царскосельской библиотеке, за столом, на котором лежала «дюжина» книг, посвященных Наполеону, признался, что испытывает «культ к нему»⁴³. Но выраженная тогда тоска по «титаническому», волнующему «сердце» в российской политике⁴⁴, оказалась гораздо острее востребована только после падения монархии.

«Теперь ни героев, ни Бонапартов не будет»

В то же время среди либеральной и социалистической интеллигенции вплоть до революции бытовало стойкое убеждение, что миф о Наполеоне – уже не более чем культурный анахронизм. Со страниц главного юбилейного издания, приуроченного к 100-летию войны 1812 г. и представившего весьма широкий взгляд на деятельность французского императора, профессор Н.И. Кареев авторитетно заявлял: «Время культа героев, великих людей, providенциальных деятелей, исполняющих исторические миссии, отошло в область прошлого»⁴⁵. Всплеск интереса к Наполеону, связанный со 100-летней годовщиной Отечественной войны 1812 года, вызвал у вышедшего из леворадикальной среды писателя-сатирика Аркадия Бухова едкий поэтический отклик, в котором он развенчивал образ этого кумира «незрелых школьников», с иронией рассказывая о том, «как может выбиться в герои // артиллерийский офицер»⁴⁶.

В левых кругах России пиетета к «великим людям» в истории вообще было мало. Короленко в 1898 г., пожалуй, выразил общее мнение, мимоходом заметив, что «Наполеоны не сами создавали свою эпоху, а явились лишь верхушкой исторической волны, которая их выносила на своем гребне»⁴⁷. А Плеханов тогда же в статье, ставшей нормативной для российских социал-демократов, разъяснял, в том числе на примере Бонапарта, что «влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление которое определяется другими силами»⁴⁸.

Интересно сравнить и две различные точки зрения на происхождение наполеоновского мифа, высказанные почти одновременно в России такими далеко разошедшимися после первой революции людьми как Петр Струве и Максим Горький. Если, по мнению одного из вдохновителей «Вех» (1909), недавно открывшего для себя «сверхразумную», «мистическую» природу государства, именно Наполеон «создал вокруг

себя целую легенду, в которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства»⁴⁹, то Горький называл творцом этого феномена народ – «силу, способную творить чудеса», «коллектив, создавший все – от Иеговы до Наполеона (в легенде о нем, а не в истории)»⁵⁰.

Впоследствии генерал П.Н. Краснов в романе «Единая-неделимая» (1924) метко спародировал расхожее среди левых кругов и в начале революции мнение, будто «теперь ни героев, ни Бонапартов не будет. Герой – сам народ с его неизвестными солдатами и вождями без имени»⁵¹.

Отголоском этих представлений в год десятилетнего юбилея Октябрьской революции станет символическое появление на аукционных торгах, изображенных в романе «Двенадцать стульев», характерного осколка старого быта – бюстика Наполеона наряду с «разрозненными гербовыми сервизами, соусником, серебряным подстаканником... и прочей галиматей»⁵².

В среде большевиков, оказавшихся у власти, общие представления о роли масс и вождей в истории поначалу действительно оставались наивно-оптимистическими. Особенно интересное свидетельство на этот счет оставила Марина Цветаева. В день покушения на Ленина, 30 августа 1918 г., вдвойне удивительной для нее оказалась реакция на распространившийся тогда по Москве слух об убийстве большевистского лидера со стороны квартировавшего у нее коммуниста Бернарда Закса. Вечером, между этим жильцом, зашедшим на кухню, и хозяйкой квартиры, состоялся выразительный диалог, переданный Цветаевой с разными психологическими оттенками:

«– Ну что, довольны?»

– Туплю глаза, – не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, 3[ак]с – первый)... Уже – великодушье победителя.

– А вы – очень огорчены?

– Я? (Передергиванье плеч.) Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, – Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры... (новая судорога)... с вашими Наполеонами и Цезарями... (сатанинская усмешка)... а для нас, знаете. Нынче Ленин, а завтра...

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза. И быстро-быстро:

– Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно..., может быть, возьмете для Али?»⁵³.

После этого разговора с неожиданной концовкой – переключением внимания с «великих людей» на дочь квартирной хозяйки – большевик Закс сумел пристроить не скрывавшую своих политических симпатий жену белого офицера на работу в Наркомнац. Но присущее ему демонстративно-оптимистическое презрение к судьбам своих вождей, как и деятельное сочувствие к людям обыкновенным, быстро вышло из моды.

«Повеяло Бонапартом в моей стране»

В Гражданскую войну стало окончательно ясно, что вопреки порожденным революцией надеждам, будто «теперь ни героев, ни Бонапартов не будет», «толпа, – как заметил один из персонажей генерала-романиста Краснова, – упрямо выпирала имена»⁵⁴.

Еще в мае 1917 г. одновременно с драматической трансформацией образа свободы – от «Прекрасной Дамы» к «гулящей девке» в поэтическом сознании Марины Цветаевой родилась и более вдохновляющая метафора, обращенная к Александру Керенскому, одно время в качестве военного и морского министра соединившему в общественном восприятии черты «первого любовника революции» и «спасителя Отечества»: «И кто-то, упав на карту, // Не спит во сне. // Повеяло Бонапартом // В моей стране».

Цветаеву, известную своей давней и прочной романтической влюбленностью в Бонапарта, в поисках русского Наполеона поддержал и Максимилиан Волошин. Но вместо занимавшего уже пост премьера, хотя и неуклонно терявшего былой автори-

тет Керенского поэт нашел для аналогичных сравнений другого героя. Когда 27 июля Борис Савинков, в недавнем прошлом – один из лидеров Боевой организации эсеров и политический эмигрант, ставший по возвращению в Россию армейским и фронтовым комиссаром Временного правительства, вступил в должность управляющего Военным министерством, Волошин обратился к нему со страстным посланием. Из всех людей, выдвинутых революцией, только в Савинкове он увидел «действенное и молниеносное сочетание религиозной веры с безнадежным знанием людей», «настоящего “литейщика”» революции, сопоставимого с создателями «великих государственных сплавов – Цезарями и Наполеонами»⁵⁵.

Сам же Савинков, «сильный, сжатый, властный индивидуалист. Личник», по определению Зинаиды Гиппиус⁵⁶, все-таки делал ставку на генерала Корнилова, который еще накануне революции 1917 г., находясь в австрийском плену (с весны 1915 г. до лета 1916 г.), заполнял вынужденный досуг чтением книг «почти исключительно» о Наполеоне и проводил «параллели между различными случаями из жизни великого корсиканца и своей собственной»⁵⁷.

Какими бы ни были спустя год после освобождения из плена политические намерения самого генерала, обратившего на себя широкое общественное внимание решительными действиями и заявлениями о необходимости наведения порядка на фронте и в тылу, его выдвижение на пост Верховного главнокомандующего происходило в атмосфере вполне определенных ожиданий части тогдашнего общества. 16 июля 1917 г., за три дня до того, как Корнилов возглавил армию, Александр Блок сообщал родным из Петрограда: «Правые (кадеты и беспартийные) пророчат Наполеона (одни первого, другие третьего)»⁵⁸.

Когда наметившийся было, но несостоявшийся союз Корнилова с Керенским обернулся в результате их взаимного недоверия и цепи недоразумений открытым выступлением первого против второго, а затем смещением и арестом Корнилова, профессор Московского университета историк Михаил Богословский с огорчением записал 30 августа 1917 г. в своем дневнике: «Русский Кромвель или Наполеон не удался и только понапрасну потряс государством, и без того истерзанным»⁵⁹.

Что касается Керенского, опьяневшего, по наблюдению Зинаиды Гиппиус, «не от власти, а от “успеха” в смысле шалашинском»⁶⁰; то он до конца пытался играть роль, отведенную ему молвой в первые месяцы революции. «Не Наполеон, но, безусловно, позирует на Наполеона»⁶¹, – заключил генерал Краснов, непосредственно наблюдавший его сразу после бегства из Петрограда.

Возможен ли Бонапарт в советской России?

Сохранилось много разных свидетельств о надеждах или опасениях, связанных с появлением русского Бонапарта, сначала из среды послефевральского генералитета и вождей Белого движения, а затем и красных командиров. Как однажды метко было замечено, «русские переживали собственную революцию, одновременно переживая в своем воображении революцию Французскую»⁶². Представителями самых разных течений русской эмиграции строились прогнозы с оглядкой на французское прошлое⁶³. Наиболее полно нереализованные политические ожидания части русской общности воплотил созданный Дмитрием Мережковским уже в эмиграции образ Наполеона (в одноименном романе 1929 г.) в качестве антипода развенчанного Толстым лжекумира – богоподобного «устроителя хаоса», творца гражданского Кодекса как «позвоночного столба» европейской цивилизации.

Особую позицию в этом вопросе занимал Петр Струве. Если из картины прозреваемого им из эмиграции будущего России «Бонапарт», как правило, исключался, то в его настойчивых призывах к объединению всех «живых сил и Зарубежья, и внутренней России»⁶⁴ для активной борьбы с большевизмом образ Наполеона возникал постоянно. Обобщая исторический опыт, Струве стремился показать взаимосвязь «революции» и «реакции», подчеркивая их объективно-стихийный характер. Поэтому, с его точки

зрения, «кто говорит “прятие революции”, тем самым признает “прятие реакции”» (1 декабря 1926 г.)⁶⁵. Если имущественная реставрация в России невозможна, и «в этом – и только в этом смысле! – “революцию” надлежит “прять”», то «смысл, идею и практику большевистской революции, ее коммунизм и партийное владычество... надлежит отвергнуть и ниспровергнуть... В этом смысле необходима – контрреволюция» (21 декабря 1926 г.)⁶⁶. Именно в сложной, двойственной природе наполеоновского режима Струве находил наиболее близкий к своей программе действий исторический прецедент: «Наполеон Бонапарт был и остается революционером с точки зрения династического легитимизма и реакционером с точки зрения... политического и социального радикализма» (апрель 1934 г.)⁶⁷.

Если диалектику «революции» и «реакции» Струве был склонен рассматривать отстраненно от участия в этом процессе «живых людей», а Наполеон в данном контексте упоминался скорее как воплощение неких объективно-стихийных сил истории, то в раскрытии ее субъективно-личностной стороны, творческой роли в судьбах обществ и государств «героической воли», как и в обосновании необходимости активной борьбы с большевизмом, тот же персонаж выступал у Струве в качестве наглядного исторического примера для «действенных патриотов»⁶⁸. Противопоставляя конкретный опыт перехода от революции к наполеоновскому режиму во Франции отвлеченной «социалистической точке зрения на революции или реакции», Струве писал: «если с этой точки зрения революции или реакции всегда происходят и никогда не “делаются”», то с точки зрения практической или политической, революции, реакции, контрреволюции всегда именно – “делаются”» (1 декабря 1926 г.)⁶⁹.

Всячески оттеняя значение наполеоновского примера для русской «контрреволюции-революции», он вместе с тем не давал антибольшевистской эмиграции пребывать в «состоянии безвольной успокоенности», развеивая ее надежды не только на самопроизвольную «эволюцию» советского режима, но и на вырастающий из него «советский бонапартизм»⁷⁰. Исходным для отрицания Струве самой возможности подобной метаморфозы стало признание им реакционного социального содержания, исключительной репрессивности и крайне низкого морального облика («бесчестия») русской революции (в ее большевистской фазе). Французской революции, совершенной «ради победы», он противопоставлял большевистскую революцию, родившуюся «из поражения и ради использования его». Отсюда следовал вывод: «В сегодняшней России нам не видится ни Бонапарт, ни бонапартизм» (11 февраля 1928 г.)⁷¹; «нет победоносной армии, и потому в роли вождя и гражданского избавителя не может быть Бонапарта, т.е. человека, увенчанного национальной славой» (2 февраля 1929 г.)⁷².

Пытаясь объяснить природу упорно бытовавших в среде эмиграции, хотя и беспочвенных, по его убеждению, надежд, Струве утверждал, что, есть «слова», «имена», «образцы», которые «останавливают», «опьяняют» и «отупляют» мысль, «ибо берут ее в плен сравнений и сближений», уподобленных им «словесной ученой браге». Призывая понять уникальность происходящего со страной и действовать сообразно с этим, он писал: «Мы пережили несравненные ни с чем испытания и катастрофы, мы находимся в совершенно не сравнимых ни с чем положениях. Нужно иметь мужество этому несравненному и несравнимому посмотреть в лицо, и приняться за него не только без лишних, но даже без всяких слов» (13 октября 1935 г.)⁷³.

Наполеоновские жесты и бонапартистские замашки

Несмотря на то, что доводы Струве выглядели весьма убедительно, а отрицание частной собственности, «как основного начала хозяйственной жизни и краеугольного камня правопорядка, личной свободы», коренным образом отличало сложившийся в СССР к середине 1930-х гг. режим от наполеоновской Франции, именно в это время интерес к аналогиям с Бонапартом стали проявлять и в Кремле. Этот интерес, как показал О.Н. Кен, возник в русле обсуждавшихся тогда правящей элитой вопросов о способах окончания двадцатилетней революционной трансформации⁷⁴.

В 1935 г., когда Евгений Тарле приступил к выполнению важного политического заказа – написанию книги о Наполеоне для серии ЖЗЛ, в Красной армии произошло знаменательное событие – появилось высшее воинское звание маршала, которого в русской императорской армии никогда не было (вместо него существовало звание генерал-фельдмаршал). Самые прославленные маршалы были во Франции при Наполеоне. Именно он, став императором, восстановил это традиционное для своей страны звание, отмененное революцией вместе с другими символами старого порядка. Можно допустить, что этот наполеоновский жест, достаточно легко узнаваемый в идейной атмосфере того времени, пронизанной аналогиями с историей другой революции, был повторен Сталиным не случайно. Отныне даже потенциальные претенденты на роль «красного Бонапарта» из среды советского комсостава, на которых делала ставку часть эмиграции, жившая по «сценарию» французской истории, должны были понять, что «вакантное место» занято и пределом их честолюбивых мечтаний может стать только маршалский «жезл».

Склонность Сталина к использованию (наряду с другими методами) выразительных символических жестов и завуалированных политических демаршей во взаимоотношениях с элитой Красной армии проглядывает в его дальнейших поступках во время и сразу после Великой Отечественной войны. Знаменитый «драматургический демарш Верховного главнокомандующего», связанный с рекламой пьесы Александра Корнейчука «Фронт», стал окольным политическим ударом по генералитету, разочаровавшему Сталина летом 1942 г.⁷⁵ Возвращение в армию погон вместе с отказом рядовому солдату в праве на минимум сокровенного – нагрудный карман на его гимнастерке⁷⁶ (январь 1943 г.), – это был уже ободряющий сталинский жест в сторону всего офицерского корпуса, реабилитировавшего себя победой под Сталинградом, и вместе с тем указание солдату на «подобающее ему место», как выразился 1 июня 1943 г. Александр Твардовский, имея в виду не только свою попавшую тогда в полуопалу поэму «Василий Тёркин»⁷⁷.

Когда же стало ясно, что обновленный комсостав армии-победительницы выходит из войны, набрав излишний (с точки зрения руководства страны) политический вес, и с окрепшим корпоративным духом, Сталин – одним росчерком карандаша в списке писателей и произведений, представленных к премии 1-й степени его имени⁷⁸ – апеллировал уже непосредственно к «солдату-народу», образ которого и воплотил Твардовский в «Василии Тёркине». Этим новым символическим жестом бесспорный вождь и генералиссимус (с июня 1945 г.) великодушно поделился лаврами победителя с рядовым солдатом (о присуждении Твардовскому Сталинской премии 1-й степени за «Тёркина» было объявлено в январе 1946 г.), окольным путем указав теперь уже своим генералам и маршалам на подобающее им место. Лишь затем (в июне 1946 г.) последовал прямой сталинский удар по верхушке советского генералитета, обвиненной в «бонапартистских замашках»⁷⁹.

Политические маневры Сталина по-своему выразительно запечатали сдвиг, произошедший в восприятии Красной армии, ее элиты, в которой иные наблюдатели теперь и внутри страны стали видеть самостоятельную политическую силу, способную освободить Россию не только от оккупантов, но и от коммунистической власти. «Я глубоко убеждена, – записала Любовь Шапорина в своем дневнике после победы над немцами под Москвой, – что армия, победившая внешних врагов, победит и внутренних» (15 апреля 1942 г.)⁸⁰. После окончания войны драматические перипетии судьбы ее «главного героя» – Георгия Жукова⁸¹ станут предметом пристального внимания Шапориной, основанием дожидаться «рассвета»⁸² и поводом к бонапартистским реминисценциям. Дневник Шапориной передает не только ее собственное искреннее восхищение этим «величайшим военачальником Русской истории»⁸³, но и выразительные свидетельства отношения к нему разных людей, в послесталинское время зачастую настроенных скорее консервативно и недовольных самой чередой внезапно происходивших разоблачений вчерашних безусловных вождей (сначала Сталина, а затем и ряда его выдвинутых соратников). Если с точки зрения «пригородов и рабочих» Жуков просто больше

соответствовал привычному для них образу вождя, «отца нации», и был к тому же овеян военной славой, то для Шапориной он олицетворял веру в будущее России как «сильной и крепкой страны старого континента с буржуазно-демократическим строем» (31 мая 1947 г.)⁸⁴. Многократно возникающие в послевоенных записях надежды на скорое возвышение своего героя Шапорина сопровождается постоянно варьируемой в дневнике емкой и выразительной формулой: «Я жду Brumaire'a» (9 февраля 1955 г.)⁸⁵; «доживем ли мы до 18 брюмера?» (10 марта 1956 г.)⁸⁶; «вот наш Брюмер!» (6 июля 1957 г.)⁸⁷.

«В плену сближений»

Окончательное падение в конце 1957 г. Жукова, дважды после войны обвиненного партийным руководством в «бонапартистских замашках», не должно затенять вообще присущего советским лидерам двойственного отношения к образу Наполеона. Память о пришествии Бонапарта вызывала у них постоянный «страх», использовалась ими как тяжкое обвинение и одновременно провоцировала латентные эпигонские настроения.

Характерно, что и следующая после книги Тарле советская биография Наполеона была заказана Альберту Манфреду издательством «Мысль»⁸⁸ на исходе 1960-х гг. – на волне начавшейся ресталинизации⁸⁹. Тем не менее, страна, общество, уже были другими, и новое жизнеописание французского императора воплотило не поиски власти, а склад мыслей интеллигентов-шестидесятников. Манфред, принадлежавший к поколению «романтиков революции», создал образ, который приобрел особенно выразительную внутреннюю динамику. Этого было достаточно для того, чтобы его «Наполеон Бонапарт» стал злостной аллегорией (скорее всего, не осознанной самим автором до конца) разительных перевоплощений власти, выходящей из революции.

Вместе с тем идеология и мораль революции в книге Манфреда не только не подверглись эрозии, но представлены даже более последовательно и жестко, чем у Тарле. В этом смысле показательны их расхождения в трактовке одного из наиболее скандальных деяний Наполеона на исходе консульского режима – захвата на территории соседнего с Францией нейтрального государства и казни на основе ничем не доказанных обвинений одного из отпрысков свергнутого революцией дома Бурбонов – герцога Энгиенского. Для Тарле это – всего лишь *случайный* эпизод в эволюции наполеоновского режима, своего рода *проступок* незадолго до коронации, даже *нонсенс* в неукротимом шествии Наполеона к монархической власти; результат исключительных обстоятельств, доведших Бонапарта до состояния «постоянной ярости». Тарле просто любит торжествовать грубой наполеоновской силой, *эстетизирует* ее как мастер исторического повествования, осылая это циничское действо своим убийственным сарказмом по адресу прямых или косвенных жертв наполеоновских злодеяний: «Баденские министры были довольны, по-видимому, уже тем, что и их самих не увезли вместе с герцогом, и никто из баденских властей не подавал признаков жизни, пока происходила вся эта операция»⁹⁰. Манфред толкует этот эпизод по-другому. Он *идеологически оправдывает* насилие и убийство с позиций революционной целесообразности: «Казнь герцога Энгиенского от начала до конца была политическим актом. Расстрелом члена королевской семьи Бонапарт объявил всему миру, что к прошлому нет возврата... Само провозглашение империи стало возможным лишь после того, как Бурбоны были вторично повергнуты в прах»⁹¹.

Рожденная в годы «оттепели» сравнительно большая творческая свобода поколения историков и обществоведов, к которому принадлежал А.З. Манфред, имела свои жесткие внутренние границы, особенно ярко выявленные в то время, когда попытки обновления революционной идеологии потерпели окончательный крах, и до которого сам автор «Наполеона Бонапарта» не дожил.

Ситуация, в которой оказалась страна в результате кардинальных преобразований рубежа 1980–1990-х гг., привела к возвращению наполеоновского мифа в новообразованное пространство публичной политики. Наполеон Бонапарт и доньяне не просто

принадлежит к избранному кругу самых знаменитых исторических персонажей; он и сегодня, по остроумному наблюдению одной российской исследовательницы, «является героем нашего времени»⁹².

Конечно, хотя бы «за неимением Наполеона»⁹³, как однажды Струве саркастично обрисовал ситуацию, сложившуюся в предреволюционной России, постоянно воспроизводимая русской культурой аналогия с финалом французской революции исторична, реальна только в том смысле, что сфера ее бытия – действительность верований, мифов, коллективного воображаемого. Если же русскую мысль, культуру, как в свое время утверждал Струве, «останавливают» и держат «в плену сближений» такие «образцы», то это происходит не столько в силу ее «самоослепления», сколько вследствие хронической заторможенности взаимосвязанных процессов гражданского взросления и политической модернизации российского общества.

Примечания

¹ Тема «Наполеон глазами его русских современников» получила достаточно подробное освещение в отечественной и зарубежной литературе. См.: *Казаков Н.И.* Наполеон глазами его русских современников // Новая и новейшая история. 1970. № 3. С. 31–47; № 4. С. 42–55; *Наринский М.М.* Наполеон в современной ему российской публицистике и литературе // История СССР. 1990. № 1. С. 126–138; *Сироткин В.Г.* Наполеон и Россия. М., 2000; *Лобачкова М.Г.* Образ Наполеона Бонапарта в русской публицистике. 1799–1815 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2007; *Мельникова Л.В.* Армия и Православная Церковь Российской империи в эпоху наполеоновских войн. М., 2007 (гл. III); *Амбарцумов И.В.* Образ Наполеона I в русской официальной пропаганде, публицистике и общественном сознании первой четверти XIX века: Магистерская диссертация. РГПУ им. А.И. Герцена. СПб., 2008 // Интернет-проект «1812»: www.museum.ru/1812/Library/Ambartsumov/index.html; *Тюна Я.В.* Общественное мнение России начала XIX века о наполеоновской Франции. Дис. ... канд. ист. наук. М., 2008; *Мирзоев Е.Б.* С.Н. Глинка против наполеоновской Франции. У истоков консервативно-националистической идеологии в России. М., 2010; *Ratchinski A.* Napoléon et Alexander I-er. La guerre des idées. Paris, 2002.

В целом же можно констатировать, что отечественная версия наполеоновской легенды у нас изучалась лишь фрагментарно, применительно к тому или иному сюжету, отрезку времени. В то же время предпринятые за рубежом попытки «сквозного» анализа судеб наполеоновской темы в России (*Sorokine D.* Napoléon dans la littérature russe. Paris, 1974; *Wesling M.W.* Napoleon in Russian Cultural Mythology. N.Y., 2001) отличаются преобладающим уклоном в сторону истории литературы и отчасти народного творчества, не учитывают историографическую традицию, как и многие важные сюжеты социально-политического характера.

² [Радожницкий И.Т.] Походные записки артиллериста. С 1812 по 1816 год. Артиллерии подполковника И... Р... Часть 1. М., 1835. С. 14.

³ *Фет А.А.* Ранние годы моей жизни // он же. Воспоминания. М., 1983. С. 89–90.

⁴ Там же. С. 159.

⁵ *Тархов А.Е.* Комментарии // *Фет А.А.* Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 436.

⁶ *Григорьев А.А.* Один из многих. Рассказ в трех эпизодах (1846) // он же. Сочинения. В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 350.

⁷ *Чехов А.П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. В 12 т. Т. 4. М., 1975. С. 291.

⁸ *Ершов П.П.* Послание к другу // он же. Стихотворения. М., 1989. С. 120.

⁹ *Полевой Н.* История Наполеона. Т. 1–5. СПб., 1844–1848.

¹⁰ Намек на изданный Амфитеатровым в 1902 г. антимановский памфлет «Господа Обмановы».

¹¹ Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 95. М., 1988. С. 351.

¹² Современник. 1911. Кн. 10. Впоследствии вся серия, состоявшая из 5 очерков, была издана отдельно: *Амфитеатров А.В.* Собрание сочинений. Т. 16. СПб., 1913.

¹³ *Амфитеатров А.В.* Указ. соч. Т. 16. С. 19, 24–25.

¹⁴ Поскольку «акты французского управления в Смоленской губернии нигде не выказывают какой-либо разницы в отношениях к населению свободному и крепостному», постольку, утвер-

ждал Амфитеатров, «фактическое освобождение от крепости совершалось уже самым занятием русской территории французскими войсками» (Там же. С. 21).

¹⁵ Ган Е.А. Суд света. (1840) // Дача на Петергофской дороге: Проза русских писательниц первой половины XIX века. М., 1986. С. 160.

¹⁶ Красов В.И. Время (1840) // он же. Сочинения. Архангельск, 1982. С. 76.

¹⁷ Дружинин А.В. Дневник // он же. Повести. Дневник. М., 1986. С. 347 (запись от 22 августа 1855 г. См. также запись от 10 сентября 1855 г. Там же. С. 351); он же. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения (1856) // он же. Литературная критика. М., 1983. С. 153. Еще в 1834 г. А.И. Герцен назвал Гёте «Наполеоном литературы» (Герцен А.И. Гофман // он же. Собрание сочинений в 30 т. Т. 1. М., 1954. С. 70).

¹⁸ Булгарин Ф.В. Письма о русской литературе: Письмо III (1833) // Пушкин в прижизненной критике. 1831–1833. СПб., 2003. С. 235.

¹⁹ Глинский Б.Б. Алексей Сергеевич Суворин. Биографический очерк // Исторический вестник. 1912. № 9. С. 35.

²⁰ Даль В.И. Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей // он же. Полное собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. М., 1995. С. 72.

²¹ Ключевский В.О. О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица (1897) // он же. Сочинения в девяти т. Т. IX. М., 1990. С. 111.

²² Чехова Е.М. Воспоминания // Чехов М.П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления; Чехова Е.М. Воспоминания. М., 1981. С. 250 (Из письма М.П. Чехова Е.М. Чеховой, 25 марта 1932 г.).

²³ Кони А.Ф. Петербург. Воспоминания старожила (1921) // он же. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 517–518.

²⁴ Поэты-петрашевцы. А.П. Баласогло, А.И. Пальм, Д.Д. Ахшарумов, С.Ф. Дуров, А.Н. Плещеев. Изд. 2. Л., 1957. С. 65.

²⁵ Шапорина Л.В. Дневник. М., 2011. Т. 1. С. 150.

²⁶ Ланфре П. История Наполеона I. Т. 1–5. СПб.; М., 1870–1877.

²⁷ Французский философ, историк, писатель Ипполит Тэн (1828–1893) в труде «Происхождение современной Франции» дал яркий психологический портрет Наполеона.

²⁸ Дорошевич В.М. Е.Я. Неделин (1910) // он же. Избранные страницы М., 1986. С. 376–377.

²⁹ Иванов Вяч.И. Роман в стихах (1937) // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. М., 1990. С. 248.

³⁰ Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 248–249; Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания в 2 т. Т. 2. М., 1964. С. 142.

³¹ Щепкина-Куперник Т.Л. Дни моей жизни (1928) // она же. Воспоминания. М., 2005. С. 77, 80.

³² Игнатъев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 1988. С. 264.

³³ Меньшиков М.О. Сроки близятся. 1914 год, 22 февраля // он же. Письма к русской нации. М., 1999. С. 438.

³⁴ Отечественная война и русское общество. Т. 1–7. М., 1911; Амфитеатров А.В. Указ. соч. Т. 16. С. 5–6.

³⁵ Вережагин В.В. Наполеон I в России. СПб., 1899; Трачевский А.С. Наполеон I. Его жизнь и государственная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1900; он же. Наполеон I. Первые шаги и консульство. М., 1907; Ковалевский П.И. Наполеон I и его гений. 1901; Троицкий Д.И. Низложение Наполеона. М., 1904; Юшкевич В.А. Наполеон на поприще гражданского правоправления и законодательства. М., 1905; Слонимский Л.З. Наполеон и самодержавие. Исторический этюд. СПб., 1908. Конец XIX – начало XX в. отмечены в России значительным увеличением переводной литературы о Наполеоне, также адресованной разным кругам читателей: Пезр Р. История Наполеона I. Т. 1–2. СПб., 1893; Слоон В. Новое жизнеописание Наполеона I. Т. 1–2. СПб., 1895–1896; Вандаль А. Возвышение Бонапарта. Происхождение брюмеранского консульства. Конституция III-го года. Т. 1. СПб., 1905; он же. Наполеон и Александр I. Французско-русский союз во время Первой империи. Т. 1–3. СПб., 1910–1913; Олар А. Очерки и лекции по истории французской революции. СПб, 1908; Ремюза К. Мемуары г-жи де Ремюза (1802–1808). Т. 1–3. М., 1912; Массон Фр. Наполеон и женщины. М., 1912, и др.

³⁶ Письма К.Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. Женева, 1892. С. 56.

³⁷ Цит. по: Шатханова Н.П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири середины XIX века: В.Я. Руперт, Н.Н. Муравьев-Амурский, М.С. Корсаков. Новосибирск, 1998. С. 198.

³⁸ Чичерин Б. Очерки Англии и Франции. М., 1858.

³⁹ «Нас предостерегают от революции, но, – надобно же сказать правду, – мы уже в революции, конечно, искусственной и поддельной, – но тем не менее в революции» // Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» 1863–1887 гг. 1881 год. М., 1898. № 138. 19 мая. С. 242.

⁴⁰ Le Général Skobeleff par madame Adam (Juliette Lamber). P., 1886. Русский перевод: Генерал Скобелев. Воспоминания госпожи Адам (Жюльетты Ламбер). СПб., 1886.

⁴¹ См.: Секиринский С.С. «Поддельная революция», тень Бонапарта и царь-миротворец // Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. С. 102–128.

⁴² Меньшиков М.О. Власть как право. 1907 год, 21 августа // он же. Письма к русской нации. М., 1999. С. 38; он же. Он – не ваш. 1909 год, 28 апреля // Там же. С. 129.

⁴³ Палеолог М. Царская Россия накануне революции. Изд. 2. М., 1991. С. 201–202 (Запись от 7 января 1917 г.).

⁴⁴ Струве П.Б. *Patriotica*: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 135–136.

⁴⁵ Кареев Н.И. Историческая литература о Наполеоне // Отечественная война и русское общество. Т. 7. М., 1911. С. 279.

⁴⁶ Бухов А.С. Два Наполеона (1912) // он же. Избранное: Стихотворения и пародии. Рассказы и фельетоны. М., 2005. С. 40–41.

⁴⁷ Короленко В.Г. Знаменитость конца века. Этюды // он же. Собрание сочинений в 10 т. Т. 9. М., 1955. С. 400.

⁴⁸ Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории (1898) // он же. Избранные философские произведения в 5 т. Т. 2. М., 1956. С. 326.

⁴⁹ Струве П.Б. *Patriotica*... С. 196.

⁵⁰ Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 95. С. 949 (Горький – С.С. Кондурушкину. Капри. 12/25 февраля 1908 г.).

⁵¹ Краснов П.Н. Единая-Неделимая. Роман в 4 ч. М., 2004. С. 487 (Ч. 4. Врата адавы. Гл. XXIII).

⁵² Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. М., 2000. С. 198.

⁵³ Цветаева М.И. Покушение на Ленина (1925) // она же. Избранные сочинения. В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 491.

⁵⁴ Краснов П.Н. Единая-неделимая. С. 487.

⁵⁵ Цит. по публикации на сайте, посвященном жизни и творчеству М.А. Волошина (Переписка с Борисом Савинковым): www.maxvoloshin.ru/voloshin-savinkov/

⁵⁶ Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 8. Дневники. 1893–1919. М., 2003. С. 254 (Запись от 5 апреля 1917 г.).

⁵⁷ Мартынов Е.И. Корнилов. Попытка военного переворота. Л., 1927. С. 16.

⁵⁸ Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 169.

⁵⁹ Богословский М.М. Дневники (1913–1919): из собрания Государственного Исторического музея. М., 2011. С. 412.

⁶⁰ Гиппиус З.Н. Указ. соч. С. 271 (запись от 9 августа 1917 г.).

⁶¹ Краснов П.Н. На внутреннем фронте; В донской станице при большевиках; Всевеликое Войско Донское. М., 2003. С. 152.

⁶² Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993. С. 198.

⁶³ См., например: Протоколы Центрального Комитета и зарубежных групп конституционно-демократической партии. В 6 т. Т. 4. М., 1996. С. 438; Т. 5. М., 1997. С. 257–258.

⁶⁴ Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935) М.; Париж, 2004. С. 196.

⁶⁵ Там же. С. 184.

⁶⁶ Там же. С. 197.

⁶⁷ Там же. С. 791.

⁶⁸ Там же. С. 560.

⁶⁹ Там же. С. 184.

⁷⁰ Существует мнение, что еще в 1920-е годы популярный в русском зарубежье наполеоновский миф стал одним из средств мистификации эмигрантской среды со стороны советской агентуры. Укрепляя надежды на то, что в самой России уже зреет бонапартистский переворот, рассчитывали тем самым нанести урон антибольшевистскому активизму эмиграции (См. Миных С.Т. Сталин и его маршал. М., 2004; он же. 1937. Заговор был! М., 2010).

⁷¹ Струве П.Б. Дневник политика. С. 386–387.

⁷² Там же. С. 426.

⁷³ Там же. С. 809.

⁷⁴ См.: Кен О.Н. «Работа по истории» и стратегия авторитаризма, 1935–1937 гг. // Личность и власть в истории России. Материалы научной конференции. СПб., 1997. С. 108–117; он же. Между Цезарем и Чингис-ханом. «Наполеон» Е.В. Тарле как литературный памятник общественно-политической борьбы 1930-х годов // Клио. 1998. № 3. С. 67–83.

⁷⁵ См.: Токарев В.А. Драматургический демарш Верховного главнокомандующего // Историк и Художник. 2006. № 4(6). С. 7–31.

⁷⁶ Секиринский С. Нагрудный карман // Историк и Художник. 2007. № 3(13). С. 5–6.

⁷⁷ Александр Твардовский: «Я в свою ходил атаку...». Дневники. Письма. 1941–1945. М., 2005. С. 189.

⁷⁸ Там же. С. 393.

⁷⁹ Конев И.С. Записки командующего фронтом. М., 1991. С. 594–599.

⁸⁰ Шапорина Л.В. Дневник. Т. 1. С. 317.

⁸¹ Там же. Т. 2. С. 109.

⁸² Там же. С. 21.

⁸³ Там же. С. 403.

⁸⁴ Там же. С. 51.

⁸⁵ Там же. С. 286.

⁸⁶ Там же. С. 329–330.

⁸⁷ Там же. С. 363.

⁸⁸ Оболенская С.В. Еще раз об Альберте Захаровиче Манфреде // Французский ежегодник 2006. М., 2006. С. 22. С.В. Оболенская в своих воспоминаниях использует старое название этого издательства – «Соцэкгиз», сохранявшееся до 1963 г.

⁸⁹ Гордон А.В. А.З. Манфред – биограф Наполеона (советская наполеонистика от 1930-х к 1960-м) // Там же. С. 48–49.

⁹⁰ Тарле Е.В. Наполеон. М., 1991. С. 133–134.

⁹¹ Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. Сухуми, 1989. С. 391, 393.

⁹² Муравьева М. Рец. на кн.: Wesling M.W. Napoleon in Russian Cultural Mythology. N.Y., 2001. 196 p. // AB Imperio. 2005. № 5. С. 397.

⁹³ Струве П.Б. Patriotica... С. 135–136.

© 2012 г. О. В. БУДНИЦКИЙ *

ИЗОБРЕТАЯ ОТЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВОЙНЫ С НАПОЛЕОНОМ В СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ 1941–1945 ГОДОВ

22 июня 1941 г. советские люди узнали, что война, которую им предстоит вести, будет походить на Отечественную войну 1812 года. В выступлении по радио заместителя председателя СНК СССР народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова говорилось: «Не первый раз приходится нашему народу иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны»¹. В том же номере «Правды», в котором появился текст выступления Молотова, была опубликована статья Емельяна Ярославского под названием «Великая Отечественная война советского народа». Неумолимый борец с религиозными пережитками писал:

* Будницкий Олег Витальевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор НИУ «Высшая школа экономики», директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ.

Автор выражает искреннюю признательность Т.Л. Ворониной за содействие в подготовке данной статьи.